

Омар Хайям Рубаи filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Омар Хайям

Рубаи

Имя персидского поэта и мыслителя XII века Омара Хайяма хорошо известно каждому. Его четверостишия – рубаи – занимают особое место в сокровищнице мировой культуры. Их цитируют все, кто любит слово: от тамады на пышной свадьбе до умудренного жизнью отшельника-писателя. На протяжении многих столетий рубаи привлекают ценителей прекрасного своей драгоценной словесной огранкой. В безукоризненном четверостишии Хайяма умещается весь жизненный опыт человека: это и веселый спор с Судьбой, и печальные беседы с Вечностью. Хайям сделал жанр рубаи широко известным, довел эту поэтическую форму до совершенства и оставил потомкам вечное послание, проникнутое редкостной свободой духа.

v 1.0 – создание fb2 Chernov Sergey март 2010 г.

Омар Хайям

Рубаи

«Я останусь Хайямом...»

Современного читателя и Омара Хайяма разделяет почти тысячелетие. Но оказывается, что емкие строки этого восточного мудреца не только близки нынешнему человеку, но и спасительны. Даже не вдаваясь в «поденные», суфийские смыслы стихотворений, в сочетании их простоты и содержательности можно найти психологическую поддержку: и в высоких рефлексиях, способствующих самоутверждению («Я откроюсь тебе: цель творения – мы»), и в оправдании жажды удовольствий («Чем к смерти суетно спешить, уж лучше с гурией грешить»). Иногда возникает ощущение, что в четыре строки Хайям умещает весь летучий жизненный маршрут: это линза, фокусирующая метания любой сколько-нибудь мыслящей души. Никакие пространные доводы не утешат так, как этот мгновенный интеллектуальный слепок, цепкая словесная хватка. Ибо насколько психотерапевтически звучит:

Ты обойден наградой. Позабудь.

Дни вереницей мчатся. Позабудь.

Небрежен ветер: в вечной книге жизни

Мог и не той страницей шевельнуть.

Считается, что Омар Хайям – Гияс ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури – родился 18 мая 1048 года. Эту дату принято считать в «хайямоведении» почти достоверной – она возникла благодаря тому, что индийский ученый Свами Говинда Тиртха по сохранившимся фрагментам гороскопа сделал соответствующие вычисления. А еще примерно полстолетия назад исследователи считали, что Хайям родился в 1017 или 1018 году. И сомнения не развеяны полностью – да и возможно ли это в такой далекой ретроспективе, при обилии легенд, трактовок и утраате документов? В частности, есть опасение, что гороскоп, по воспоминаниям младшего современника Хайяма, Ал-Байхаки (1106–1174), найденный в бумагах поэта, не был его личным гороскопом, а хранился Хайямом как профессиональным астрологом.

Предполагается, что Хайям умер в 1131 году (если не принимать во внимание легенду, согласно которой он прожил 104 года). К такому заключению пришли на основании рассказа Низами Самарканди о посещении им могилы Хайяма через четыре года после его смерти. Однако по другим расчетам, в частности Свами Говинды Тиртхи, он покинул этот мир в 1122 году. По мнению Говинды, у Самарканди ошибочно написано «четыре года» вместо «четырнадцать лет». Могила находится в Нишапуре около мечети памяти имама Махрука и, как и предсказывал Хайям, в таком месте, где «каждую весну ветерок осыпает его цветами» – рядом сад грушевых и абрикосовых деревьев. В 1934 году на средства, собранные почитателями творчества Хайяма в разных странах, был воздвигнут обелиск (авторы надписи на нем тоже признавали годом смерти – 1122-й).

О кончине Хайяма существует следующая легенда. Поэт читал «О божественном» из «Книги Исцеления» Авиценны. Дойдя до главы «Единое и множественное», он вложил между листьями золотую зубочистку и сказал своему свояку, имаму Мохаммеду Багдадскому: «Позови чистых, я сделаю завещание». Когда единомышленники собрались, он помолился и после этого не ел и не пил. Его последними словами были: «Боже мой! Ты знаешь, что я познал Тебя по мере моей возможности. Прости меня – мое знание Тебя – это мой путь к Тебе». Еще в позапрошлом столетии ученые считали, что было два Хайяма: поэт и

математик, о чем свидетельствуют, например, статьи в русском энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Хайям писал стихи на персидском языке, а научные работы – в основном на арабском. В сложном имени Хайяма Нишапури означает место рождения – город Нишапур. Это один из городов северо-восточной иранской провинции Хорасан, в древности составлявшей ядро парфянского государства. Парфия входила в состав древнеперсидского царства. А в Хорасане разнообразно сочетались парфянская и персидская, греческая и римская, арабская и турецкая культуры. Поэтому образование Хайяма совершенно естественно базировалось на арабских переводах трудов Евклида, Архимеда, Аристотеля, Птолемея, сделанных еще в IX–X веках. Также он читал произведения ученых из стран Ближнего и Среднего Востока, изучал Коран и краткие энциклопедические трактаты Ибн Сины – «Книгу спасения» и «Книгу знания».

Средневековые источники обычно именуют Хайяма «имамом» – духовным вождем, «ходжой» – учителем и «Доказательством истины». По свидетельству современника, он имел превосходную память: однажды в Исфахане внимательно прочитал одну книгу семь раз подряд, а затем, возвратившись в Нишапур, продиктовал ее, и между оригиналом и новым текстом не нашли существенных различий.

О молодых годах жизни Омара Хайяма и о последних – сведений ничтожно мало. Он родился в семье состоятельного ремесленника, возможно, старейшины цеха ткачей, изготовлявших полотно для шатров и палаток (хайма) – отсюда и имя «Хайям», буквально – «палаточный мастер», от слова «хайма» происходит и старорусское «хамовник», т. е. «текстильщик». После учебы в Нишапуре Омар продолжил занятия в Балхе и Самарканде. Он изучал как точные, так и гуманитарные науки, медицину, теорию музыки, был хорошо знаком с родной таджикско-персидской поэзией. Но главным направлением его научных занятий становится математика: первая самостоятельная работа Хайяма, возможно, посвящена извлечению корня любой целой положительной степени n из целого положительного числа N . А «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы», написанный в Самарканде в 60-е годы XI столетия, принес Хайяму славу выдающегося ученого. Он содержал почти всю совокупность алгебраических познаний того времени. К сожалению, открытия Хайяма не стали своевременно известны в Европе, европейские ученые заново открывали уже открывшееся Хайяму, это можно сказать, в частности, о «бине Ньютона». В Самарканде Хайям находился с 1066 по 1070 год, а затем четыре года провел в Бухаре. В 1066–1074 годах Хайям работает над математическими трактатами, в их числе «Трудности арифметики», «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмука-балы» и «Весы мудрости».

После учебы Хайям путешествовал и преподавал. Ему начали покровительствовать правители. Сперва бухарский, а затем, в связи с укреплением империи Великих сельджуков – сельджукские властители Ирана Альп Арслан и его сын Мелик-шах, а также их знаменитый визирь, ценитель наук и искусств Низам аль-Мульк (1017–1092). По приглашению последнего Хайям в 1074 году переселяется в столицу нового государства Исфахан, где становится придворным ученым. Красивая легенда повествует: учась в хорасанском медресе, Омар и еще два мальчика, выпив крови друг друга, дали взаимное обещание, что тот, чья жизнь сложится успешно, не оставит без помощи двух других. Таким образом, у друга, ставшего визирем, Хайям попросил не власти, а денежной помощи (по некоторым источникам – налог со своей родной деревни), дабы беспрепятственно предаваться поэзии и созерцанию Творца. Ведь в те времена ученый, не будучи человеком состоятельным, мог регулярно заниматься своим предметом, лишь состоя при дворе правителя – на должности секретаря, астролога, врача или поэта. Хайям не сделался придворным поэтом, но 18 лет в Исфагане (до 1092 года), где он руководил обсерваторией, были самыми плодотворными в его жизни.

Итак, собрав при дворе «лучших астрономов столетия» и выделив значительные средства на оборудование, султан поставил перед Хайямом задание – построить дворцовую обсерваторию и разработать новый календарь.

И за пять лет Хайям и его сотрудники действительно создали новый календарь, гораздо более точный, нежели применявшийся до того. В Иране и Средней Азии в то время существовали две календарные системы: солнечный домусульманский зороастрийский календарь и лунный, пришедший вместе с арабами и закрепившийся в процессе исламизации населения. Хайямовский же календарь, получивший название «Маликшахово летоисчисление», основывался на 33-летнем периоде, в котором восемь лет были високосными: каждый четвертый год для первых семи и последний – через пять лет. Этот календарь оказался на 7 секунд точнее нынешнего григорианского, чья годовая погрешность составляет 26 секунд. Кроме того, на основе наблюдений за небесными телами под руководством Хайяма были составлены «Астрономические таблицы Малик-шаха», которые стали широко известны на средневековом Востоке. Сохранились только

таблицы неподвижных звезд, 100 наиболее ярких. Интересно, что некоторые наши названия звезд – искажения арабских слов. Так, Фомальгаут – фум ал-хут (рот рыбы), Ахернар – ахир ан-нахр (конец реки). В Исфахане Хайям продолжал и занятия математикой: в 1077 году завершил работу по геометрии – «Комментарии к трудностям во введении книги Евклида». А также написал «Трактат о бытии и должествовании» (1080), а в 1080–1091 годах – «Ответ на три вопроса», «Свет разума о предмете всеобщей науки» и «Трактат о существовании».

До наших дней дошла лишь часть хайямовских трактатов по алгебре, философии, астрономии. В 1851 году немецкий математик Франц Вёпке опубликовал в Париже книгу «Алгебра Омара Альхайями» – алгебраический трактат. А в начале XX столетия были изданы часть физического трактата Хайяма об определении золота и серебра в составе из них теле и его философские трактаты. Судить о мировоззрении Хайяма можно, основываясь на его четверостишиях и философских трактатах. Однако его философские и поэтические высказывания (тоже, на первый взгляд, противоречивые) порой расходятся. Согласно монографии о Хайяме Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича, в трактатах он рационалистически, в духе Аристотеля и Ибн Сины, обосновывает необходимость божества как первопричины всех причин – иначе получилась бы бесконечная цепь или порочный круг, что нелепо. Мир эманурует, проистекает из первопричины наподобие некоей цепи, звенья которой «не одинаковы по благородству» (первое – чистый разум, последнее – прах разложившегося сущего, из которого божество создает и человека). Учение это восходит к египетскому неоплатонику III века Плотину. И картина мира согласно такому воззрению описана Хайямом в трактате о всеобщности существования.

В этом трактате ставится вопрос, с которым мы встречаемся и в поэзии Хайяма: почему Бог допустил несовместимые противоречия в существовании, почему в мире есть зло? В решении этой проблемы Хайям придерживается своеобразной теории «наименьшего зла», следуя за Ибн Синой, который в своей «Книге знания» приводит следующий пример: огонь не мог бы приносить пользы, «если бы не был таким, что когда в него попадает благочестивый или ученый муж, то он сгорает», то есть хорошо, что существует даже несовершенный мир, ведь было бы еще большим злом, если бы из-за неизбежного несовершенства мира Бог не стал его создавать. Необходимость молитвы Хайям обосновывает тем, что введенные пророком законы не удержатся, если их не вспоминать постоянно в молитвах, упоминая и законодателя, и самого Аллаха. В «Трактате о бытии и должествовании», а также в «Ответе на три вопроса» Хайям свой восточный аристотелизм и неоплатонизм приспособливает к мусульманскому вероучению. Однако исследователи Б. А. Розенфельд и А. П. Юшкевич считают, что «Хайям сам не был удовлетворен излагаемой им рационалистической попыткой оправдания существующего в мире зла». Должно быть, поэтому возникли расхождения между представлением о торжестве добра над злом, существовавшим в теодицее Хайяма, изложенной в его философских сочинениях, и духом некоторых рубаи: «Я ухожу из этой круговерти / Тоски и зла. В печаль мою поверьте...». Или:

Под небесами счастья нет, и мир устроен так:

Один рождается на свет, другой летит во мрак.

Когда бы ведал человек о всех земных печалях,

Не торопился б он сюда, коль сам себе не враг.

Одно из возможных здесь объяснений – в эволюции мироощущения Хайяма, на которое наложили отпечаток жизненные невзгоды. Скажем, несколько категорично переводчик Игорь Голубев считает, что отношение Хайяма к Богу постепенно видоизменялось от «хвалы» к «хуле» по мере познания. Следуя этому принципу, вероятно, рубаи с упованием на милость Аллаха можно отнести к более ранним, нежели «сердитые» и «безнадежные»:

Греша, не могу не испытывать страха.

Но я уповаю на милость Аллаха.

Пригрей, Всемогущий, Хайяма, который

Был пьяным гулякой, стал горсточкой праха.

В двух финальных строках другого рубаи, затрагивающего эту тему, не

исключено, проявилась присущая Хайяму ирония:

Был Ты добр, и враги не сломили меня.

Посылал мне припасы, в дороге храня.

Если дашь мне возможность воскреснуть безгрешным,

То бояться не стану я Судного дня.

С другой стороны, стихи – это своеобразная отдушина, и человек не обязан быть столь последовательным в своем поэтическом самовыражении, сколь в научном. В стихах он даже запросто противопоставляет мудреца, винопоклонника или поклонника женской красоты – ученому, хотя к своим научным занятиям наверняка относился серьезно:

В учености – ни смысла, ни границ.

Откроет больше тайный взгляд ресниц.

Пей! книга жизни кончится печально.

Укрась вином мелькание страниц.

После гибели своих покровителей в 1092 году, во времена преследований на религиозной почве, Хайям, чтобы доказать приверженность исламу, совершил паломничество в Мекку. Обсерватория закрылась, и его попытки заинтересовать новых правителей астрономическими открытиями оказались безуспешными. Считается, что книга «Науруз-наме» (исторический трактат, написанный в 1095–1098 годах о древнем новогоднем празднике – Наурузе) должна была заинтересовать высокопоставленных лиц и побудить их к финансированию обсерватории. В книге излагается история солнечного календаря и различных календарных реформ, она также содержит многочисленные рассказы, легенды, медицинские советы, поучения и даже неправдоподобные анекдоты и ненаучные приметы. Последние компоненты должны были придать книге увлекательность, традиционно присущую популярному изданию, а цель ее следует из главы «Об обычаях царей Ирана», где повествуется о лучших качествах правителей, прежде всего великодушии, справедливости, покровительстве ученым.

Размышления о вине из «Книги о празднике нового года» вполне соответствуют стихотворным высказываниям Хайяма об этом напитке. В специальной главе «Слово о пользе вина» Хайям апеллирует сперва к медикам древности, Галену и Гиппократу, а также к ученым средневекового Востока, а затем и сам воздает хвалу вину говоря, кроме прочего, следующее: «Вино очень приятно; все съедобное в мире, как жирное, сладкое, так и кислое, таково, что его нельзя есть сверх насыщения, а если съешь больше, то человеческой природе становится противно, а вино как много ни пьешь, только больше хочешь. Человек не насыщается им, и человеческой природе оно не противно, потому что оно – царь напитков. В нем много пользы для людей, но его грех больше его пользы. Мудрому нужно пить так, чтобы его вкус был больше греха...»

Хайям и в стихах дает совет на этот счет:

Ты к вину пристрастился, так пей с мудрецом

Или с резвым юнцом, что приятен лицом.

Пей нечасто. Пей мало. Пей втайне от прочих,

чтоб не слыть ни пропойцею, ни гордецом.

В «Науруз-наме» есть и «Слово о свойствах красивого лица», перекликающееся с теми стихами, в которых воспевается красота женщины и юноши. В этой главе Хайям утверждает, что красивое лицо – счастье не только для его обладателя, но и для тех, кто смотрит на такое лицо: «Говорят, что счастье хорошего лицемерия имеет такое же влияние на состояние людей, как счастливое сочетание светил на небе. <...> Пророк, – мир над ним! – сказал: „Требуйте все, что вам нужно, у красивых лицом“».

Лишь к концу жизни Хайям вернулся в родной Нишапур. Тяготы последних лет отразились в стихотворениях, призывающих к осторожности и замкнутости. Считается, что Хайям обошелся без семьи и детей. По словам Ал-Байхаки, в конце жизни Хайям «имел скверный характер и был скуп», «был скуп в сочинении книг и преподавании». А иранский исследователь Р. Дашнаки писал: «Омар Хайям был человеком. Не нужно делать из него ни пьяницу, ни ловеласа в стиле французских романов. Он был таким же, как все мы: порой мерз и голодал, порой жил прекрасно, много думал и много работал».

Однако если с трактатами Хайяма знакомы преимущественно специалисты, его поэтическое творчество – поистине народное достояние. «Рубаи» – в переводе с арабского – буквально: учетверенный. Это собственно персидская форма поэзии, появившаяся в IX веке. По словам Артура Арберри, метр рубаи не совпадает ни с одним из метров, к которым обращались арабские поэты. Шамс-и Кайс пишет о рубаи следующее: «И благородные и простолудины были потрясены этой формой; и грамотные и безграмотные полюбили ее в равной мере; и аскет и развратник пользовались ею; она понравилась и набожному и грешному; люди, лишенные слуха, неспособные отличить стиха от прозы, не подозревавшие о существовании метра и ударения, танцевали, распевая рубаи; глухие, не способные отличить звука трубы от крика ишака, люди с мертвыми сердцами, удаленные на тысячи миль от наслаждений звуками струн лютни, были готовы продать свои души за рубаи. Многие из девиц, заточенных в гаремы, из-за любви к рубаи разбили на кусочки двери и стены своей невинности; многие из матрон из-за любви к рубаи навек потеряли покой».

Наиболее очевидные особенности рубаи – спонтанность и актуальность. Как правило, в первом бейте (двустииши) дается посылка, а в третьем полустииши второго бейта – вывод, закрепленный афористической сентенцией четвертого полустииши. Даже любовные темы в рубаи раскрываются не столько через эмоции, сколько посредством философских раздумий и медитаций. Жанр рубаи стал широко известен именно благодаря тому, что в нем писал стихи Омар Хайям. Он же и довел эту поэтическую форму до совершенства.

Исследователи на протяжении всего «хайямоведения» задавались вопросом,

какие же рубаи принадлежат собственно Хайяму, ведь свод четверостиший, написанных его рукой, так и не был найден. Столетиями его стихи собирались в сводные списки (рубайяты). При переписывании текстов были неизбежны искажения и ошибки. Рукописи ветшали, и рассыпавшиеся отдельные листы могли быть вставлены внутрь книги, не на свои места. В рубаияты Хайяма попадали рубаияты других поэтов, потерявшие начало и имя автора, и впоследствии такой сводный текст воспринимался целиком как хайямовский. Иногда переписчик правил четверостишия, «облагораживал» их, иногда сочинял сам. Отдельный вопрос – чужие произведения, представляющие собой поэтический ответ на четверостишия Хайяма. Современник или поздний почитатель либо развивал или опровергал его мысль, либо пародировал ее. Естественно, чем чаще встречаются в разных источниках одни и те же стихи, тем больше вероятность их принадлежности Хайяму. Многие рубаи имеют несколько текстуральных версий. Поэтому, если составитель сборника был как-либо заангажирован, в своем отборе он тяготел к определенным стихотворениям и отбрасывал другие.

К произведениям Хайяма относили около пяти тысяч четверостиший, хотя ни одна из древних рукописей не содержала более 300–400. Русский востоковед В. А. Жуковский в конце XIX столетия даже ввел определение «странствующие четверостишия» – их приписывали то Хайяму, то другим известным или анонимным авторам. Так, многие тексты приписываются наряду с Хайямом Ибн Сине и ат-Туси. Принципы определения авторства были самыми разными. Жуковский предложил считать подлинными лишь те рубаи, которые относят к Хайяму древнейшие исторические сочинения, XII–XIV веков, – таковых четверостиший оказалось всего шесть. В начале XX века датский иранист А. Кристенсен предложил довольно спорный критерий атрибуции: искать четверостишия, содержащие имя Хайяма, их было двенадцать. Через двадцать три года датчанин, правда, предложил другой способ: сличение самых древних из известных рукописей – в том числе из собрания Оксфордского университета, Британского музея, Национальной библиотеки в Париже, Берлинской библиотеки. Так были признаны 121 рубаи. Дальше – больше, вышеупомянутый Свами Говинда Тиртха в 1941 году опубликовал одну из лучших в истории хайямоведения работ, «Нектар Милости», где привел более тысячи рубаи, с подробным указанием источников, в которых они встречаются.

Кроме того, нет точного представления, в каком виде поначалу бытовали рубаи Хайяма. Существует версия, что они исполнялись устно, даже напевались. Разнообразие вариантов трактуют как свидетельство их первоначальной изустности. Некоторые авторы последующих поколений цитировали его строки в своих работах, иногда «от противного», как образцы крамольных взглядов Хайяма. Наличие множественных версий одной темы, стихотворений, очень близких по содержанию, советский востоковед Е. Э. Бертельс объяснял, в частности, следующим образом. Подвергаясь опасности со стороны фанатичных богословов, Хайям писал «на клочках, обрывках бумаги», а затем читал за кубком вина друзьям. И вот эти, скажем, пять друзей, придя домой, записывали тексты по памяти, естественно, с некоторыми отклонениями, а при позднем собирании эти варианты принимались за отдельные четверостишия. Среди составителей сборников четверостиший Хайяма известен писатель XV века Яр-Ахмед Табризи, который назвал свой труд «Тараб-ханэ» («Дом Радости»). Многие стихи великого поэта дошли до нас только благодаря ему. Лучшим собранием рубаи является Бодлеанская рукопись (1460 год), которой пользовался первооткрыватель Хайяма для Европы – английский поэт Эдвард Фитцджеральд. Она была составлена в Ширазе и содержит 158 рубаи. В 1859 году Фитцджеральд издал около ста четверостиший в переводе с персидского. Однако, как отмечают Ш. З. Султанов и К. З. Султанов, до него Хайяма пытался переводить на немецкий язык Хаммер-Пургшталь, опубликовавший 25 четверостиший, а на французский – Гарсен де Тасси. Однако эти переводы не привлекли к себе внимания. В специальной литературе имя Хайяма-поэта появлялось и ранее: его упомянул Томас Хайд в «Истории религии древних персов» в 1700 году. Фитцджеральдом в книге, включавшей также биографический очерк «Омар Хайям – персидский астроном и поэт», был создан образ восточного мудреца, в юности – гедониста, в зрелом возрасте – разочарованного скептика, в старости – мистика. Кроме Бодлеанской рукописи, английский поэт пользовался копией другой древней персидской рукописи «Рубайята» – из библиотеки Бенгальского азиатского общества. Особого успеха эта поэма (а именно такое впечатление производил перевод, достаточно вольный, в котором фрагменты мыслей были сгруппированы в виде восточной поэмы) поначалу не имела, и ее даже вынужден был защищать Данте Габриэль Россетти, а также писатель и исследователь Ричард Бартон. Однако вскоре «Рубайят» стал невероятно популярен. Фитцджеральд подготовил пять различных редакций перевода, а до конца XIX столетия его Хайям переиздавался 25 раз. Сам автор называл свой труд «своеобразным видом литературного

метемпсихоза», подразумевающая верную передачу духа персидского текста при «переписывании», как он выражался, оригинала на английский.

В 1967 году был издан перевод «Рубайята», выполненный Робертом Грейвсом в сотрудничестве с поэтом-суфием и ученым Омаром Али-шахом. Работая с манускриптом, который хранился в семье Али-шаха с XII века, Грейвс и Али-шах постарались опровергнуть материалистическую интерпретацию «Рубайята», заданную Фитцджеральдом.

Первые русские переводы стихотворений Омара Хайяма появились в России в конце XIX века – самая ранняя публикация датируется 1891 годом, когда «Вестник Европы» напечатал 16 стихотворений в переводе В. Величко (всего им было переведено 52 четверостишия). Первые переводчики передавали рубаи разными по величине стихотворениями, чаще всего восьмистишиями, но иногда вплоть до 16-ти строк. Рифмовка осуществлялась по правилам русского стихосложения.

А в 1901 году К. Герра (под этим псевдонимом выступил поэт и музыкальный критик К. Мазурин) была опубликована книга «Строфы нирузама». В предисловии К. Герра сообщал, что он издает старую и дефектную рукопись стихов персидского поэта из Хорасана, которая случайно попала к нему в руки во время путешествия по Востоку. По словам К. Герра, читателю была представлена русская публикация старой восточной рукописи стихов некоего Нирузама – хорасанского стихотворца X века. Современники проявили живой интерес к стихам восточного поэта – сборник включал 168 стихотворений, которые издатель назвал строфами. Однако в имени Нирузама был зашифрован перевертыш фамилии издателя – Мазурин, и критики сочли сборник искусной литературной подделкой, сочинениями Мазурина, стилизованными под Саади и Хафиза. Разгадали загадку этого издания спустя многие десятилетия З. Н. Ворожейкина и А. Ш. Шахвердов, идентифицировавшие в «строфах Нирузама» 110 рубаи Омара Хайяма и доказавшие, что основу публикаций К. Герра действительно составила одна из рукописей Омара Хайяма. Внук Константина Митрофановича Мазурина, проживающий в Париже Константин Константинович Мазурин утверждает, что это была не мистификация, а первый в истории русской литературы опыт отдельного издания переводов стихов Омара Хайяма. К. Бальмонт первым из переводчиков стал передавать произведения Хайяма четверостишиями. А в 1916 году появилось первое солидное художественное издание, имеющее научную основу книга «Персидские лирики X–XV веков», представлявшая русскому читателю творчество восьми поэтов, была подготовлена академиком Ф. Е. Коршем и отредактирована после его смерти и опубликована известным иранистом, арабистом и одним из основоположников украинского востоковедения А. Е. Крымским (кстати, Лев Толстой упоминал, что «изучал Коран по крымскому»). Агатангел Крымский обратил внимание, в частности, на следующее: «В X столетии литературный обычай еще вполне позволял поэтам неподдельную эротику, неподдельную гедонику а далее понемногу в литературе укоренилась довольно лицемерная привычка – писать о немистической человеческой лирической жизни так, чтобы стихи не слишком шокировали богобоязненных людей. Писать так, чтобы богобоязненные люди могли понимать даже самую грешную гедонику и разнузданную чувственность как аллегория, как высокую набожность, выраженную в мистической форме... Последствием этой традиции стал тот факт, что мы часто не имеем ни малейшей возможности определить, как нужно понимать того или иного поэта, – тем более что сами суфии легко причисляют любого к своему лагерю».

Последующие два десятилетия, до 1934 года, отмечены лишь двумя публикациями переводов Хайяма – И. Тхоржевского и А. Е. Грузинского. В середине 1930-х появились переводы Л. С. Некоры, С. Кашеварова, О. Румера. Если не считать «Строф Нирузама», представивших творчество Омара Хайяма анонимно, в переводах-вариациях, то первый сборник русских художественных переводов Хайяма выпустило издательство «Academia» в 1935 году, когда в Советском Союзе проходил III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. А в 1972 году главная редакция восточной литературы издательства «Наука» провела конкурс на лучшие переводы Омара Хайяма, победителем которого был признан Г. Плисецкий. Результатом этого конкурса стало издание в 1972 году книги «Омар Хайям. Рубайят» – 450 четверостиший, в большинстве своем не переводившихся ранее на русский язык.

Настоящее издание в основном составили недавние переводы Ирины Евсы. Работа И. Евсы – отменного художественного качества, а кроме того, говоря словами Лео Яковлева, «переводы его (Хайяма.– Н. Б.) четверостиший, выполненные женщинами, в которых Природой изначально заложена великая стратегия жизни, могут достигать высочайших степеней проникновения в духовную Вселенную Хайяма».

Таким образом, ряды переводчиков Омара Хайяма на русский язык активно пополняются. По словам З. Н. Ворожейкиной и А. Ш. Шахвердова, «переводы-парафразы, переводы-импровизации полностью уступили место

переводу-интерпретации, переводу-исследованию». К нынешнему моменту многие хайямовские рубаи имеют пять-шесть, а самые популярные насчитывают до десяти-пятнадцати стихотворных интерпретаций. Точные переводы порой очень похожи между собой, а адепты творческого подхода дают красивую, но достаточно произвольную трактовку. Поскольку в 1959 году был опубликован подстрочник, переводы стали множиться в геометрической прогрессии вплоть до того, что некоторые из них утратили связь с подлинником и стали восприниматься как совершенно новые хайямовские стихотворения. Попытки истолковать рубаи предпринимались неоднократно. Э. Фитцджеральд сосредоточился на материалистической трактовке. Иранский исследователь Мухаммад-Али Фуруги считал Хайяма прежде всего правоверным мусульманином, а потом уже суфием, чьи взгляды, однако, не выходят за рамки ортодоксального ислама. В суфийском духе толковал рубаи Хайяма его французский издатель Николя, а позднее – В. А. Жуковский, Свами Говинда Тиртха. С этой точки зрения, поэтическое творчество Хайяма нельзя понимать буквально. Он говорит метафорами и аллегориями. Джаннат Сергей Маркус, исламский культуролог, приводит слова профессора Чарльза Хорна: «Для многих жителей Запада будет неожиданностью узнать, что в Персии нет споров относительно стихов Омара и их значения: автор почитается как великий религиозный поэт. Восхваление им вина и любви представляют собой классические суфийские метафоры: под вином понимается духовная радость, а любовь – восторженная преданность Богу...». Действительно, у Хайяма немало и специфических суфийских образов, один из них – «зеркала ржа» в рубаи, построенном на контрасте человеческих качеств: Мы – веселья источник и пожар мятежа. Справедливости корень и коварство ножа. Совершенство и низость, очищенье и грязь. Мы – и чаша Джамшида, мы – и зеркала ржа. Для суфия – при каждом воспоминании Бога с зеркала сердца счищается ржавчина (Джамшид – легендарный царь древнего иранского эпоса, обладавший чашей, в которой отражался весь мир).

И в интернетском живом журнале дискутируют, совпадали ли поэтические высказывания Хайяма и его реальная жизнь: «Вообще-то Омар Хайям, будучи верующим, алкоголь не употреблял. "Вино" в его стихах – это "размышления", "медитации". "Пью с умом" не значит пьет в меру, а "пьет" размышляя, "опьянение" – состояние божественного транса, соединения с Богом. "Святоша и трезвенник, занят собою" – человек, живущий в рамках повседневности, не думающий о Боге, не стремящийся к истине, знанию или механически соблюдающий религиозные правила и обряды». Не факт... Хайям, конечно, суфий, а в суфийской лирике, по традиции, опьянение и любовь к женщинам были фигуральным обозначением единения с Господом. Вопрос только в том, насколько тщательно Хайям соблюдал эту традицию. Сторонникам суфийской многозначности рубаиота противостоят те, кто считал Хайяма проповедником гедонизма. Но есть и другие. Образ Хайяма-гедониста и тотального жизнелюбца был совершенно не близок Г. К. Честертону. В своей статье «Омар Хайям и священное вино» он говорит, что «эта великая книга нанесла сокрушительный удар общительности и радости. <...> Плохо не то, что Хайям воспевает вино, – плохо то, что он воспевает наркотические свойства вина. Он призывает пить с горя. Для него опьянение закрывает, а не открывает мир. Он пьет не поэтически, т. е. не весело и не бездумно. Он пьет разумно, а это ничуть не поэтичнее банковской сделки и ничуть не приятнее слабительного». И это говорится о поэте, один из сокровеннейших стихотворных посылов которого – не принимать на себя горе. Не горевать, не отчаиваться. Кроме того, глядя на Хайяма с узкохристианской точки зрения, Честертон отказывает поэту в признании человеческой личности и человеческой воли. (Что же в таком случае значат строки: «Будь, чем хочешь: вином, утоляющим жажду, / Или жаждой, что в нас порождает оно»? Ведь насколько шире здесь иносказательное толкование «вина».) Лишь слепая власть Бога якобы довлеет над человеком. По мнению Честертона, Августин или Данте не согласились бы с таким подрывом веры в человека. (Почему-то кажется, что Данте нашел бы общий язык с Хайямом.) Кроме того, английский писатель упрекает Хайяма в том, что он неправильно понимает радость. Эта мысль тем более обескураживает, поскольку радость произвольна и не имеет четких критериев: нельзя радоваться правильно или неправильно – то же касается и ее понимания. Конечно, общепринятые радости могут не радовать, если, скажем, нечиста совесть. А «вино» и «любовь» – это действительно в большей степени аллегории, собирательные пункты значений, ибо четверостишие лаконично. Не вдаваясь в собственно христианский взгляд на вещи и в сокровеннейшее упование христианина: «Да будет не моя воля, а Твоя, Господи!», вспомним, что порицаемый Честертон образ мыслей – только часть воззрений Хайяма. Разве не ему принадлежат слова о том, что наша жизнь – лишь краткий миг, поэтому необходимо радоваться, а не терять времени на

уныние. Ставя Хайяму в вину такой оксюморон, как «безрадостная погоня за наслаждением», Честертон ловит его на эпизодическом мотиве «мир движется впустую...». Но ведь кому, как не Хайяму, с его пронизательностью ученого, было понятно – что не впустую. Просто мир не может быть однозначен. И то, что Честертон в последних фразах своей статьи противопоставляет христианское «Пей это вино – кровь Мою Нового Завета, за вас проливаемую» мудрости Хайяма, в значительной мере возвращенной на древнегреческом языке, равносильно гордыне крестоносцев, считавших, что их правда самая правдивая. Возможно, столь категоричный подход объясняется тем, что английскому писателю не были известны многие хайямовские четверостишия, опубликованные позднее. Оппонентом Честертон в воображаемой дискуссии мог бы стать Парамахамса Йогананда. Как было сказано в начале, самые разнообразие учения и религиозные влияния имели место во времена Хайяма: звездопоклонничество и огнепоклонничество (зороастризм), а также иудейская вера, христианство и древнеиндийские мистические учения.

Идейно-теоретическая основа суфизма многое восприняла, в частности, из мистических верований Индии. Утверждая, что в основе великих религиозных традиций как Востока, так и Запада лежат принципы и техники йоги (даже если они и не называются так), Парамахамса Йогананда в своем произведении «Вино мистики. Духовный взгляд на "Рубайят" Омара Хайяма» произвел соответствующие толкования. По его словам, «несомненно, за всю историю человечества ни один другой поэт не снискал такой чрезвычайной славы при абсолютно неверном понимании его произведений». Вот один из образцов трактовок Йогананды:

Рано утром я слышу призыв кабака:

«О безумец, проснись, ибо жизнь коротка!

Чашу черепа скоро наполнят землю.

Пьяной влагою чашу наполним пока!»

Утро – рассвет мудрости, первые попытки разгадать тайну жизни.

Призыв – интуиция души.

Кабак – святилище внутреннего безмолвия.

Череп, наполненный землей – смерть.

Наполнить чашу влагой – исполниться осознания.

«Я еще не вполне проснулся от спячки материалистического невежества и еще дремал на заре пробуждения мудрости, когда услышал голос интуиции. Моя душа взывала из святилища внутреннего безмолвия: "Оставь безумные мирские взгляды! Лелей ростки истинной мудрости! Наполни чашу сознания пьянящей влагой божественной радости, пока твоя нынешняя жизнь не закончилась и череп не наполнился землей».

Когда человек еще не проснулся, но уже начинает ощущать духовное вдохновение, внутренний голос души побуждает его стряхнуть дрему, серьезнее относиться к мыслям о цели жизни и быть практичным: пока жизнь не подошла к концу, наполнить сознание истинным счастьем – божественной радостью.

Внутренний голос здравого смысла часто выводит человека из ментального оцепенения, побуждая собраться с силами и направить их на осуществление главной цели жизни. Однако человеческая природа такова, что, даже услышав этот голос, большинство людей год за годом продолжают влачить полусонное существование – пока не осознают, что жизнь подходит к концу.

Не оказавшись на пороге смерти, никто не хочет предпринимать решительных шагов для наполнения чаши своего сознания пьянящим вином духа, не решается пить этот эликсир, утоляющий жажду души, стремящейся к самому важному в жизни. День за днем следует с открытым сердцем пить обретенное вино сокровитного бочонка божественной радости.

Как тут не вспомнить Рабле с его оракулом Бутылки? Вообще же образные параллели напрашиваются сами собой нередко. Например, мотивы кругооборота материи в природе и бренности человеческого существования. Мысли такого рода вложены Шекспиром в уста Гамлета, рассуждающего на кладбище о том, что нет никаких помех «вообразить судьбу Александра праха шаг за шагом, вплоть до последнего, когда он идет на затычку пивной бочки? <...>

Истлевшим Цезарем от стужи

Задельвают дом снаружи.

Пред кем весь мир лежал в пыли,

Торчит затычком в щели».

У Хайяма этот мотив превращения человека в глину для дальнейших странствий в вещном мире варьируется в нескольких рубаи, скажем, в таком:

Этот старый кувшин на столе бедняка

Был всемогущим визирем в былые века.

Эта чаша, которую держит рука, –

Грудь умершей красавицы или щека...

А слова Лаэрта во время похорон Офелии: «Пусть из ее неоскверненной плоти / Взрастут фиалки!» Кажутся почти буквальным переводом строк Хайяма «Не

раздави в лугах невинную фиалку, / Что родинкой была на девичьей щеке». Правда, чувствуется, что в некоторых стихотворениях у Хайяма речь идет не столько о круговороте материи, сколько о перевоплощении души, о новом рождении – в индийской традиции.

Интересно, что некоторые четверостишия Хайяма подобны пейзажным зарисовкам, а изредка можно столкнуться даже с босхоподобной живописью:

Зри, око, пока не ослепло, могилы средь гулких ручьев,
Мир, щедро удобренный пеплом и полный греха до краев,
Правителей гордые клики, сокрытые в недрах земли,
И луноподобные лики в недремлющих ртах муравьев.

Собственно, вечные темы и мотивы вообще афористичны. «Ты говоришь, вино горчит? Ну что же, / В нем – истина. Она всегда горька» – что это как не *in vino Veritas*, кочующее от латинян вплоть до Блока и далее. Или «Мне известно, что мне ничего не известно...» – привет Сократу.

Обращения к виночерпию или к кравчому тоже идут из античной поэзии, посему хайямовское «Эй, кравчий! Принеси вина...» пополняет эту коллекцию образов. Но символизм такого определения порой гораздо шире: «Небесный Кравчий, Чьи уста окрасили рубин, / Лишь тех печалью не вскормил, кого не возлюбил». В другом случае он называет Творца «Предвечный Художник», а то и «кукловод». Строкам

Мы влюблены, восторженны, пьяны.

Молясь вину, не чувствуем вины.

Земные узы сброшены: отныне

Мы в дом Творца на пир приглашены.

созвучно тютчевское «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!

/ Его призвали всеблагие как собеседника на пир...». И, пожалуй, это один из тех случаев, когда символика вина у Хайяма наиболее прозрачна для высокой трактовки.

В произведениях современных авторов тоже достаточно переключек. Например, выяснению отношений с Богом посвятил многие свои стихотворения Дмитрий Быков.

А у чешского писателя Богумила Грабала есть фраза: «Только когда мы совсем раздавлены, из нас выходит самое лучшее». На сей счет Хайяму известно следующее: «Покуда не истопчешь всех дорог, не выйдет ничего. / Покуда не омоешь кровью щек, не выйдет ничего...» или «Как нужна для жемчужины полная тьма, / Так страданья нужны для души и ума...».

И то, что на первый взгляд полностью противоположно несчастью, неподдельное восхищение ближайшим и доступным – чувствуют и Леонид Аронзон (у которого в этом стихотворении тоже есть соловей): «Мне все доступны наслажденья, / коль всё, что есть вокруг, – они...», и Омар Хайям:

Разорвался у розы подол на ветру.

Соловей наслаждался в саду поутру.

Наслаждайся и ты, ибо роза – мгновенна.

Шепчет юная роза: «Любуйся! Умру...»

Ценить мгновение, с разной, разумеется, динамичностью и прямоотой образов, умеют оба. Аронзон, например, в открытии: «Что счастливее, чем садом быть в саду и утром – утром...»; в стихотворениях «Боже мой, как всё красиво!», «Красавица, богиня, ангел мой...» – и Хайям в строках: «Нежным женским лицом и зеленой травой / Буду я наслаждаться, покуда живой!».

Что есть поэзия Хайяма? Откровение? Завещание? Не исключено, что в «противоречиях» Хайяма, его протестичности – своеобразная «полифония», призванная отразить как добро, так и зло, показать, что и сущее, и взгляд на него – множественны, неисчерпаемы. С другой стороны, парадоксальна редкостная свобода духа в этих построенных на контрасте четверостишиях – даже когда речь идет о зависимости от судьбы и Творца.

Возможно, что Путь Хайяма, его тайное учение еще предстоит интерпретировать посвященным:

Один с мольбой глядит на небосвод,

Другой от жизни требует щедрот.

Но час придет, и оба содрогнутся:

Путь истины не этот и не тот.

Но, думается, мыслящему – достаточно того, чем одаряет самое непосредственное впечатление от его насыщенных четверостиший.

Наталья Бельченко

Рубаи

коль не знаешь, что будет с тобой через год,

Зря печалишься раньше прихода невзгод

Ты, вкусивший вина, обнимающий пери,

Утирающий страсти взыскующий пот.

Если Тот, Кто прелестницам дал красоту,

Утоленья – скорбящим, а праздным – тщету, –

Нам с тобою не выделит места под солнцем,
Не печалься: других Он низверг в черноту.
Вы, объятые шумным веселием круга,
Под звучанье барбата, воспойте друг друга.
И незло помяните беднягу Хайяма,
Что очнулся травинкой весеннего луга.
Не тверди, что идет за бедою беда.
Ты желанной награды не сыщешь тогда.
Знает каждый мудрец: все во власти Аллаха.
Слезы лить понапрасну не стоит труда.
Бедные жители кладбищ, их горевое родство
В прах превратилось летучий. Ветер развеял его.
Что за вино они пили, если до Судного дня
Спят, ни о чем не тревожась, спят, не боясь ничего?
Даже избранный муж, чья всеильна рука,
Кто о мире привык рассуждать свысока,
Пред делами Всевышнего жалок, потерян
И ничтожен, подобно крупице песка.
Смерть торгов не ведет и не кажет лица.
На нее ты бежишь, словно зверь на ловца.
Чрево рыхлой земли – вот обитель покоя.
Пей вино. Этой сказке не видно конца.
Избороздив морщинами чело,
Сомненье не сулит нам ничего.
И лишь вином наполненная чаша
Весельем освещает торжество.
Смерть не страшит, поскольку там, где окажусь потом,
Найду я пышность цветника и постоянный дом.
Коль тело брэнное Творец мне дал взаймы, на время, –
То и расстанусь с ним легко, не пожалев о том.
Ты видел гибель царств и смерть царей.
Но рока меч коварней и острее.
Коль в рот тебе судьба халву положит,
Остерегись: крупичицы яда в ней.
Зря ты метался меж злом и добром,
В первом тонул, выплывал во втором.
Ради тебя измениться не может
То, что начертано Божьим пером.
У меня – ни двора ни кола во дворе.
Вся наличность моя – голова в серебре.
Пьянь. Бродяга. Болтун. А поскольку в седилах –
Борода, то и черт, как известно, – в ребре.
Я видел сон: один мудрец мне произнес: «Пока
Ты спишь, дряхлеют лепестки пурпурного цветка.
Стряхни дремоту дней своих, что смерти равносильна.
Встань, ибо скоро ты уснешь на долгие века».
Там, в загробном краю, хорошо или худо –
Не расскажет никто, не надейся на чудо.
Для чего ты зарыл столько золота в землю,
Если знал, что за ним не вернешься оттуда?
И сгорбленный старик, чья борода седа,
И розовый юнец – все сгинут без следа.
Ты думал, этот мир вручен тебе навеки?
О нет, всего на миг ты заглянул сюда.
Бестолково состариться нам суждено.
Время нас истолчет, словно в ступе – зерно.
Для чего мы посеяли столько желаний,
Если нам урожая собрать не дано?
«Кто блажен?» – я спросил одного мудреца.
Он ответил: «Как слепы людские сердца!
Счастлив тот, кто в объятых своей луноликой
Ночь проводит, которой не видно конца».
Я спешил в погребок. Осветила луна
Захмелевшего старца с кувшином вина.
Я спросил: «Почему не стыдишься Аллаха?»
Он ответил: «Бог милостив, пей же – до дна!»
Тот блажен, кто избрал не ярмо, а свободу,
Кто молился закату, а также – восходу,
Кто – все ниже склоняя кувшин обливной –
Пил вино бытия, а не пресную воду.
Я откроюсь тебе: цель творения – мы.

Ненасытного разума зрение – мы.
 Этот круг мироздания перстню подобен.
 Лучший камень в его инкрустации – мы.
 Мы – веселья источник и пожар мятежа.
 Справедливости корень и коварство ножа.
 Совершенство и низость, очищение и грязь.
 Мы – и чаша Джамшида, мы – и зеркала ржа.
 Употребляй всю румяна, притиранья.
 Но старость победить – напрасные старанья.
 Сто раз произнеси, что ты – источник жизни,
 Но век измерен твой, как сказано в Коране.
 Смешна твоя радость, а также – обида.
 Ты легче пылинки из праха Джамшида,
 Мгновенья короче, бесплотней надежды,
 Что бледным огнем сновиденья прошита.
 Помнишь малую каплю, что стала волной,
 Горстку праха, что с глиной смешалась земной?
 Что приход и уход твой для мира? – Вот муха:
 Прожужжала и стала сплошной тишиной.
 Тот, Чью тайну скрывают лазурные дали,
 Безразличен к победе моей и к печали.
 Пусть я пьян от грехов, но трезвею от веры,
 Что в конце Он утешит меня, как в начале.
 Каплей жидкости были мы, вложенной в чресла,
 Что в огне обоюдных желаний воскресла.
 Завтра ветры развеют наш прах, но сегодня
 Веселись: то, что в чаше, хмельно, а не пресно.
 Сам с собою сражаюсь – я жалок и слаб.
 Пью вино и не каюсь – я жалок и слаб.
 Отпусти мне, Всевышний, грехи, ибо знаешь:
 Потому и грешу я, что жалок и слаб.
 Допьем кувшин вина – в нем жизненная сила, –
 Покуда нас двоих тоска не сокрушила.
 Потом Гончар судеб наш прах смешает с глиной
 И вылепит кувшин, а может, – два кувшина.
 Все тайна: море бытия и жемчуг смысла в нем.
 Ее постигнуть ты и я пытались день за днем.
 И всяк болтал, увы, лишь то, что выгоду сулило.
 Но дна никто не озарил спасительным огнем.
 Я в злобный рок не верю, коль мне Творцом дано
 Из рук прекрасной пери волшебное вино.
 Грози мне адом, дыбой, вини во всех грехах,
 Но меж луной и Рыбой напьюсь я все равно!
 Греша, не могу не испытывать страха.
 Но я уповаю на милость Аллаха.
 Пригрей, Всемогущий, Хайяма, который
 Был пьяным гулякой, стал горсточкой праха.
 Ты, Аллах, замесил мою глину. – Как быть?
 Плоть слепил и согнул мою спину – как быть?
 Ты, Всевышний, деянья благие и злые
 Начертал на челе моем бренном. – Как быть?
 Я вчера заходил к одному гончару.
 И сказал ему: «Помни: мы – пыль на ветру.
 Пыль осядет на землю, смешается с глиной,
 Чтоб воскреснуть кувшином на пьяном пиру».
 Пол пестрит черепками изысканной чаши,
 Чей узор – ожерелья жемчужного краше.
 Что, невежда, хрустит у тебя под ногой?
 Присмотрись к черепкам: это головы наши.
 Тысячи Махмудов и Айязов
 Поглотил бездонным синим глазом
 Небосвод. Никто не возвратился,
 Не утешил нас своим рассказом.
 Что толку от прихода моего?
 Бесстрастен небосвод над головой.
 Уйду – его сиянье не померкнет.
 Зачем я здесь? И там я для чего?
 Я солнце цветком не могу заслонить,
 Не вижу судьбы золоченую нить.
 Ум вынул из моря жемчужину мысли,
 Но страх помешал мне ее просверлить.

Мудрец, не проболтайся в пьяном споре,
 Иль тайна сердца сплетней станет вскоре.
 Запомни: перл, мерцающий в ракушке,
 Был каплей тайны, скрытой в сердце моря.
 Ты, чьи очи так алчно и хищно горят,
 День за днем умножающий рыночный ряд,
 Посмотри, что проделало время с другими,
 Даже с теми, что лучше тебя во сто крат.
 Останется зерно надежды на лугу
 Твой сад перед тобой останется в долгу
 Трать все – от ячменя до золотой монеты –
 С друзьями, а не то достанутся врагу
 Тайну мира я вам не открою, увы,
 Ибо стану мишенью для грязной молвы.
 У премудрых мужей не в чести благородство.
 Проболтаюсь – и мне не сносить головы.
 Мечтаешь быть потомками воспетым?
 Трепещешь, словно лист, пред жадным светом?
 Уж лучше быть гулякой, чем святошей.
 И лучше быть пропойцей, чем аскетом.
 Не отвергая молодого, а также старого вина,
 Мы белый свет продать готовы лишь за ячменных два зерна.
 Тебя тревожит, где я буду, когда покину мир земной?
 Отстань. Мне жаль тебя, зануду. Вот чаша. И она полна.
 От вина мы теплеем. Веселия глас
 Заглушает обиды, живущие в нас.
 Если б выпил Иблис хоть глоток из кувшина,
 Поклонился б Адаму две тысячи раз.
 Скупец, не причитай, что плохи времена.
 Все, что имеешь, – трать. Запомни: жизнь одна.
 Сколь злата ни награбь, а в мир иной отсюда
 Не унесешь, увы, и горсточку зерна.
 Небесный Кравчий, чьи уста окрасили рубин,
 Лишь тех печалью не вскормил, кого не возлюбил.
 И только тот, кого не смыл поток Его печали,
 В ковчеге Нуха, как в гробу, живет, боясь глубин.
 Есть ли польза от жизни, что прожили мы,
 Погружаясь во тьму, выплывая из тьмы?
 Время выжгло глаза у великих пророков,
 Превратило их в пепел, но где же дымы?
 Оплеванный всеми, свой путь продолжаю с трудом,
 Сквозь хляби и сели недоброю силой ведом.
 Рванулась из тела душа. Я спросил: «Ты уходишь?» –
 «А что же мне делать, – вздохнула, – коль рушится дом?»
 Наполни чашу соком лоз, пока
 Рассвет над кровлей теплится слегка.
 Ты говоришь, вино горчит? Ну что же,
 В нем – истина. Она всегда горька...
 Ты – богат и пресыщен, я – беден и наг.
 Но зачем суетимся мы в поисках благ?
 Оба в прах обратимся, а он, как известно,
 На гробницы пойдет для других бедолаг.
 Всемогущий, Ты добр и не жаждешь расплаты.
 Но зачем из Эдема изгнал бунтаря Ты?
 Если милость Твоя для невинных, Господь, –
 У кого же прощенья искать виноватым?
 Друг, пока мы здоровы и духом тверды,
 Будем пить, заедая горбушкой беды.
 Ибо вскоре небесная чаша, вращаясь,
 Нашу жажду не скрасит и каплей воды.
 Вино – рубин. Кувшин – рудник. А тело – пиала.
 Мерцает в ней твоей души подсвеченная мгла.
 Хрусталь, искрящийся вином, воистину подобен
 Слезам, в которых кровь лозы багровый луч зажгла.
 За все готов платить сполна, под языком нектар катая.
 Я за один глоток вина отдам сокровища Китая.
 И сто религий – за хрусталь хмельного кубка в час рассветный.
 Все так. Но есть еще печаль, что нас уносит, не считая.
 Всевышний, говорят, и сам не рад,
 Что раздавал изъяны всем подряд.
 Теперь Он разбивает нас о камни.

Ущербны мы. Но кто же виноват?
 Сегодня ты богат, а завтра нищ.
 Твой прах развеют ветры пепелищ,
 Смешают с глиной, и она однажды
 Пойдет на стены будущих жилищ.
 О кумир драгоценный, продолжим игру.
 Кровь пурпурной лозы я в кувшин соберу.
 Выпьем вместе, покуда мы глиной не стали,
 А из глины – кувшином на бойком пиру.
 Прекрасен капель жар на черенке листа.
 Возлюбленной твоей прекрасна чистота.
 Что о вчерашнем дне ни вспомнишь, все некстати.
 Будь счастлив тем, что есть, а прочее – тщета.
 Даже если мой стан – кипарис, а щека
 Ярче розы, нежнее ее лепестка, –
 Не пойму, для чего, о Предвечный Художник,
 Ты включил нас в узор Своего цветника?
 В тех песчинках, что ветер сдувает с горы, –
 Прах красавиц: подруги, невесты, сестры.
 Пыль со смуглой щеки вытирай осторожно –
 Юной девой была она с ликом Зухры.
 Слабеют корни. Осыпается листва.
 Гранаты щек моих покрыла синева.
 Я – старый дом: прогнили крыша и опоры.
 Свет не погас еще, но теплится едва.
 Бог – кукловод, а куклы – ты и я.
 Что боль Ему твоя или моя?
 Даст поиграть над пестрою завесой
 И сложит нас в сундук небытия.
 Почто в преданиях сплелись и с незапамятных времен
 Волнуют смертных кипарис и нежной лилии бутон?
 Ведь лилия всегда молчит, десятком языков владея.
 А стоязкий кипарис ввысь неподвижно устремлен.
 В стрекозьем пенье луга, где синь и тишина,
 Он возлежит с подругой, что нежности полна.
 И пьет рубин из чаши под куполом лазурным,
 Пока не опьянеет от сладкого вина.
 Под небесами счастья нет, и мир устроен так:
 Один рождается на свет, другой летит во мрак.
 Когда бы ведал человек о всех земных печалях,
 Не торопился б он сюда, коль сам себе не враг.
 К чаше, полной соблазна в луче золотом,
 Сотни раз припадал я взыскующим ртом.
 А Творец создает драгоценную чашу
 И о землю ее разбивает потом.
 Искусен тот гончар, что чашами голов
 Земной украсил мир, трудясь без лишних слов:
 На скатерть бытия вверх дном поставил Чашу
 И горечью ее наполнил до краев.
 Поскольку жизнь твоя висит на волоске,
 Остерегайся дни растрчивать в тоске.
 Иначе ты найдешь не переливы перлов,
 А серую пыльцу в разжатом кулаке.
 Из чаши неба пьют уста твои
 Напиток зла, глупец, а не любви.
 Смотри: бутылъ и кубок в поцелуе
 Опять слились, но губы их – в крови.
 О камень ты разбил кувшин с вином, Господь.
 Врата услад закрыл для уст моих, Господь.
 Ты землю окропил лозы живою кровью.
 Будь проклят я, но Ты, наверно, пьян, Господь?
 Ты, гонимый човганом рока, словно мяч, по горбам времен,
 Не спеши вопрошать до срока и оплакивать свой урон.
 Ибо Тот, кто тебя направил и заставил тебя бежать,
 Он-то знает, зачем. Он знает. Только Он это знает. Он.
 Если мудрому знание о мире дано, –
 Радость, горе, печаль он приемлет равно.
 Будь, чем хочешь: вином, утоляющим жажду,
 Или жаждой, что в нас порождает оно.
 И мудрому – увы – конца не миновать.
 Чтоб роком правил я – такому не бывать.

Похороню мечты. Пожрет их червь могильный
 Иль воющий шакал, – мне, право, наплевать.
 Говорят: «Ни вина, ни подруги не тронь,
 Или вскоре пожрет тебя адский огонь».
 Чепуха. Если ад – для влюбленных и пьяных, –
 Рай назавтра окажется пуст, как ладонь!
 Я отвергнут любимой. Сказала она:
 «На другую гляди, а меж нами – стена».
 Как могу я глядеть на другую, о пери?!
 Если взор застигает мне слез пелена?
 Утро. Чаша. Лепешка, а к ней – виноград.
 Нам не стоит глядеть ни вперед, ни назад.
 Все, что было, – ушло, а грядущее – скрыто.
 Вот – сегодняшний рай твой. И вот он – твой ад.
 Перенеся лишенья, ты станешь вольной птицей.
 А капля станет перлом в жемчужнице-темнице.
 Раздашь свое богатство – оно к тебе вернется.
 Коль чаша опустеет – тебе дадут напиться.
 Что мне миру сказать, если, умники, вы
 Не узрели рисунка Господней канвы.
 Потянули за кончик сверкающей нити –
 И узор в тот же миг распустился, увы!
 Как только я кувшин опустошил на треть,
 Он выскользнул из рук на каменную твердь.
 Всевышний, для кого Ты создаешь кувшины
 И разбиваешь их из-за кого, ответь?
 Всю жизнь аскетом быть, лелея образ рая?
 Ну нет! – уж лучше пить. Я чашу выбираю.
 Коль пьяниц прямо в ад погонят, как баранов,
 То кто ж увидит рай из тех, кого я знаю?
 Чем к смерти суетно спешить,
 Уж лучше с гурией грешить.
 Пока я был, и есть, и буду,
 Я пил, я пью, я буду пить!
 Гонимый роком по холмам кручин,
 Не различает истинных причин
 Тех бед, что небосвод ему пророчит
 Затем, чтоб он их завтра получил.
 Ты плачешь, что роком по жизни гоним,
 Что слабому духу не справиться с ним.
 Не лучше ли воле Творца подчиниться?
 Будь счастлив хотя бы мгновеньем одним.
 Если будет в объятьях владелица розовых уст,
 В чаше – Хидра вода, и кувшин не окажется пуст,
 Музыкантом – Зухра, а Иса собеседником станет, –
 Вновь душа расцветет, как весною – гранатовый куст.
 Жаркий лал в синеве небосклона – любовь.
 Бирюзой напоенная крона – любовь.
 И не стон соловья над поляной зеленой,
 А когда умираешь без стога – любовь.
 Тот, чей разум, словно факел, потревожил темноту,
 Ни единого мгновенья не потратил на тщету:
 Или к милости Господней обратил свои молитвы,
 Или выбрал созерцанье и вино поднес ко рту.
 Ту, что тело мое воспалила и дух,
 Искушили наветы коварных подруг.
 У кого мне искать исцеленья от хвори,
 Если лекаря тоже терзает недуг?
 Счастлив тот, кто в плену у своей дорогой,
 Даже если он – пыль у нее под ногой.
 Из возлюбленных рук я приму и отраву.
 Не возьму и лекарства из дланей другой.
 Без причины о нуждах чужих не радей.
 Стерегись приближать незнакомых людей.
 Тот, кто нынче за чашей тебя восхваляет,
 Завтра в пропасть столкнет, как последний злодей.
 «Рай, – мне твердили, – высшая награда.
 Там – прелесть гурий, сладость винограда».
 Но что мне рай, когда я и сейчас
 Владею всем, не выходя из сада!
 Кто в мире не решил, скажи?

И кто не жил во лжи, скажи?
 Я зло свершил, ты злом воздал мне:
 Кто здесь хорош, кто плох, скажи?
 Мир, мне не сбросить ни на миг
 Судьбы мучительных вериг.
 Всю жизнь ходить мне в подмастерьях
 У лучших мастеров твоих.
 Над глупостью смеешься? Но пока
 Бессилен разум: он доит быка.
 Сам притворись глупцом: сегодня ум твой
 Не стоит и головки чеснока.
 Та, что сердце мое увела без труда,
 Вновь надеждой меня одарила, когда
 Жаркий бросила взор, словно камешек в чашу:
 Он остыл, но зато закипела вода.
 Взахлеб вино любви (все прочее – вода)
 Я пью с огнем в крови, не ведая стыда.
 Так жадно, долго пью, что спрашивает встречный:
 «Откуда, жбан вина, бредешь ты и куда?»
 Мы пили вино, наслаждались, любили.
 Нас весны ласкали, а зимы губили.
 Ступай осторожно меж нежных соцветий –
 Зрачками красавиц вчера они были.
 Муки старят красавиц. Избавь от беды
 Ту, чьи веки прозрачны, а губы тверды.
 Будь с любимой нежней: красота ускользает,
 На лице оставляя страданий следы.
 Мы влюблены, восторженны, пьяны.
 Молясь вину, не чувствуем вины.
 Земные узы сброшены: отныне
 Мы в дом Творца на пир приглашены.
 Мне говорят: «Не пей. Ты попадешь в капкан.
 Тебе гореть в огне, гуляка и смутьян».
 О, не сулите мне ни ада и ни рая:
 Блаженней двух миров тот миг, когда я пьян!
 Мне облако, цвета густой синевы,
 Шепнуло: «Любуешься глянцем травы?
 Дождешься, что некто пленится фиалкой,
 Проросшей из глупой твоей головы!»
 Изысканный тюльпан на синем ветерке
 Вскормила кровь царя, угасшего в тоске.
 Не раздави в лугах невинную фиалку,
 Что родинкой была на девичьей щеке.
 Щека тюльпана мокнет в синеве.
 Наполни кубок, лежа на траве.
 Когда-нибудь и ты тюльпаном станешь.
 Пей, смысла не ищи в людской молве.
 Книга юности нами прочитана. Жаль.
 Облетели страницы, как горький миндаль.
 Тишина еле слышно шуршит под ногами,
 И печалью сквозит помутневшая даль.
 Пусть я погряз в грехах, зато, по крайней мере,
 Не мучаюсь, как те, что потрафляют вере
 В кумирнях. Мне нужны в тяжелый час похмелья
 Не церковь, не мечеть, а лишь вино и пери.
 Нам – вино и любовь, вам – кумирня и храм.
 Нам – глумленье в аду, вам – в раю фимиам.
 Судьбы смертных Творец начертал на скрижалях.
 Разве мы виноваты, что верим словам?
 Встань, юнец, чтоб увидеть рассвет за окном,
 Тонкий кубок наполнить пурпурным вином.
 Краткий миг, что для радости нам предназначен,
 Отыскать не сумеешь ты в мире ином.
 Век прожит? Не грусти о нем.
 Давай рукой на все махнем,
 Вдвоем прильнем устами к чаше
 И насладимся этим днем.
 Подруга, ты зря притворяешься злой.
 Потешь свое сердце моей похвалой.
 Танцуй, веселись, ибо завтра, быть может,
 Я стану кувшином, а ты – пиалой.

Один к фиалке попадает в плен,
Другой – к тюльпану, в жажде перемен.
А мне милей – бутон стыдливой розы,
Что подбирает платье до колен.
Мудрец, омывающий ноги в речушке, чья влага светла,
Увидел, как пыль на дороге вздымает погонщик осла.
И старец изрек: «Осторожней! – А вдруг эта желтая пыль
Была головой Кей-кубада и глазом Парвиза была?»
Травинку в тени молодого граната
Сорвать не осмелюсь: возможно, когда-то
Была она локоном дивной смуглянки,
Что сном беспробудным отныне объята.
Мир – вымысел, что множит миражи.
А я, глупец, поверил этой лжи.
Эй, кравчий! Я прикончил жбан, но, может,
И он – лишь пьяный вымысел, скажи?
Караван этой жизни почти миновал.
Много лет я чужим доверялся словам.
А теперь доверяюсь кувшину, в котором
Только то, что мне кравчий, смеясь, наливал.
Зри, око, пока не ослепло, могилы средь гулких ручьев,
Мир, щедро удобренный пеплом и полный греха до краев,
Правителей гордые клики, сокрытые в недрах земли,
И луноподобные лики в недремлющих ртах муравьев.
Эй, гончар! Ты работаешь в поте лица:
Глину месишь, и топчешь, и бьешь без конца.
Если слеп твой рассудок, прислушайся к сердцу:
Ты, возможно, глумишься над прахом отца.
Откуда ты пришел, куда уйдешь, –
Не спрашивай: ответом будет ложь.
В том круге, без конца и без начала,
Ни щели, ни просвета не найдешь.
Лик твой чаши Джамшида прекраснее, кравчий!
Смерть из рук твоих лучше бессмертия, кравчий!
Прах ступней твоих станет очей моих светом.
Ярче тысячи солнц засверкает он, кравчий!
Виночерпий, я с горечью мира знаком.
Дай мне сладость почувствовать под языком.
Погляди: скоро дно обнажится в кувшине.
Жизнь моя уменьшается с каждым глотком.
Что синий небосвод? – На теле поясок.
Джейхун – твоя слеза, ушедшая в песок.
Ад – место, где тебя обдаст жестоким жаром.
А рай – привал, где ты передохнешь часок.
Тайн вечности, мой друг, нам не постичь никак.
Неясен каждый звук, расплывчат каждый знак.
Жизнь – света пелена меж прошлым и грядущим.
Рассеется она – и мы уйдем во мрак.
Мне тоска воздержания не по нутру.
Если впрямь я воскресну таким, как умру, –
Не расстанусь до ночи с подругой и с чашей,
Чтоб и с той, и с другою воспрять поутру.
Качнется свод небесно-голубой
И облаком накроет нас с тобой.
Пей, веселись, ласкай траву ладонью.
Мы станем прахом, чтоб взойти травой.
Нет на свете того, кто б подмял небосвод,
Кто бы пищей земною насытил живот.
Зря кичишься, что вышел из бед невредимым:
Будешь недругом съеден и ты в свой черед.
Все, что тебя неволит и гнетет,
Не сваливай на бедный небосвод.
Он – раб, и то свершает, что Всевышний
Ему велит, а не наоборот.
Творец, создавший бытия изнанку и лицо, смирил
Прыть недруга, с которым я вчера, как с другом, говорил.
Черпак из тыквы – мне твердят – быть мусульманином не может.
Но как ты назовешь того, кто эту тыкву сотворил?
На землю в ярости пролей кровь тех, чья совесть коротка;
Кровь нечестивцев и вралей, что греют жирные бока;
И лицемеров, чьи слова пусты, раскаянье фальшиво.

Но крови девственной лозы не проливай и полглотка.
Как дождевые облака,
Пройдут и радость и тоска.
Пока ты медлил, жизнь кувшин твой
Опустошила в три глотка.
Я к вину не рискну прикоснуться в шабан.
И в раджаб я себе послабления не дам.
Ибо месяцы эти во власти Аллаха.
Но уж как я потешу себя в рамадан!
Мне не набрать мгновений, когда я трезв бывал.
Ночь predeterminedений я спяну прозевал:
Припав губами к чаше, держа кувшин за горло,
Прижавшись грудью к жбану, я храпака давал.
Доколе будешь низости людской прислуживать, ничтожный человек,
И, прилипая к пище день-деньской, как муха, коротать недолгий век?
Уж лучше, не имея ничего, голодным быть, чем должником извечным.
И лучше кровью сердца своего питаться, чем жевать чужой чурек.
Хочешь цели достичь – не надейся на помощь людей.
На чужое не зарься, своим равнодушно владей.
Тот, кто прошлым живет или будущим, равен безумцу,
Что из суетных рук выпускает сегодняшний день.
Одна рука на чаше, другая – на коране.
То воспеваем небо, то подвергаем брани.
Под этим бирюзовым величественным сводом
Уже мы не гяуры, еще не мусульмане.
О свет очей моих, проснись! – Глотнем вина сперва.
Под звуки лютни повторим прекрасные слова.
А послековрик для молитв на пиалу сменяем,
И безразлично станет нам, что принесет молва.
Я приму и шипы, если роз не достанется мне.
Свет с небес не сойдет – я готов размышлять при огне.
Коль Всевышнего я не найду ни в мечети, ни в церкви, –
Веры в сердце моем мне достаточно будет вполне.
Легче в грязных трущобах Аллаха найти,
А в мечети к нему перекрыты пути.
Он – начало всего и конец. Он всемогущ:
Покарать меня может, а может спасти.
То сижу в погребке, то ищу мудреца.
Сердце жалко трепещет, как тельце птенца.
Стыдно мне, что я грешник и что – мусульманин.
Есть ли храм, где могу я услышать Творца?
Люби красавиц, пей вино, коль в этом знаешь толк.
Не хочешь – пеплом посыпай небес полных шелк.
Не трать себя на пустяки и мелкие попреки:
Никто из канувших во тьму обратно не пришел.
Продам венец царя, корону и чалму
За флейты нежный звук, ныряющий во тьму.
А ханжеских святош молитвенные четки
За пиалу вина продам я хоть кому.
Ни тот, кто мудростью своей смысл просверлил, как мастер – перл,
Ни тот, кто о Владыке дней судил, над книгами корпел, –
Не объяснили бытия. Поговорили и уснули.
За тайн мерцающую нить никто схватиться не успел.
О Небесный Ваятель! Ты создал объем
Звездной чаши. Под ней мы, как мухи, снуем.
Согласись: мне орлом не взлететь в поднебесье,
Коль Ты мухой отлил меня в тигле Своем.
Отяжелело тело, краски сошли с лица.
Сердце мое истлело, словно у мертвеца.
Кравчий, я пью и каюсь, каюсь и снова пью.
Как ни крути, останусь грешником до конца.
Ум рассудку сказал: «Разобраться пора,
Пить грешно или нет». И тогда из шатра,
Из двора, из дворца прозвучало: «Помилуй,
Как не пить, коль Всевышний изрек: “Майсара”?»
И стервятник над костью мне ближе, чем тот,
Кто от подлых людей поощрения ждет.
Лучше корку ячменную грызть до кончины,
Чем подачками пачкать искусанный рот.
Коль ветка вечности выросла из корня радости, мой брат,
Коль эта жизнь тебе тесна, как старый шелковый халат, –

Не полагайся на шатер, что телом временным зовется.
Смотри: секут его ветра и колья хлипкие трещат.
Повеяло дождем издалека.
Тень облака смывает пыль с цветка.
«Пей!» – соловей лепечет желтой розе
И склевывает каплю с лепестка.
Коль чистый дух, не оскверненный прахом,
Влетит в мое окно рассветным птахом,
Мы выпьем с ним вина, и скажет он:
«Да будет день благословлен Аллахом!»
Будь я Творцом, властителем высот,
Испепелил бы старый небосвод.
И натянул бы новый, под которым
Не жалит зависть, злоба не снует.
Если к вечеру ногу баранью достану,
Хлеб и кубок вина, что равняется ману,
И смогу я подругу в трущобы завлечь, –
Вознесусь, как не снилось иному султану.
Я чашей в один ман убью печаль слезы,
Двумя – обогашу веселия азы.
Трехкратный дам развод и разуму, и вере,
А, разведясь, женюсь на дочери лозы.
Я – раб вина. Я дивным песням рад.
Улыбка пери мой ласкает взгляд.
Таким меня Ты вылепил, Всевышний.
Но почему ж тогда бросаешь в ад?
Дай мне дежу и чашу на самом краю
Луга жизни моей. Уходя, не пролью
Ни вина, ни слезы. Что бы там ни болтали,
Быть мне псом шелудивым, коль я не в раю!
Если путь твой Всевышним начертан давно,
Ты получишь лишь то, что тебе суждено.
Не мечтай о несбыточном. О невозможном
Не моли. Не завись от того, что дано.
Накинёт солнце свой аркан на тишину дворов,
И бросит шарик в чашу дня великий Кай-Хосров.
Протри глаза, налей вина, как только крик любовный
К тебе вернется эхом «Пей!», прошив небесный кров.
Очнись, Хайям, беда невелика,
Не майся из-за лишнего глотка.
Не будь греха – зачем тогда прощенье?
А коль простят, о чем твоя тоска?
Творца расспроси, ибо сам я не знаю,
Направлюсь я в ад или в рай, умирая.
Уж лучше в наличных барбат и вино
Возьму, чем в рассрочку – окраины рая.
Я шел дорогой в ад, мостил дорогу к раю.
Я много лет подряд все двери отворяю,
Что в чуждые миры ведут, светясь во мраке.
Но знаю только то, что ничего не знаю.
Покуда не истопчешь всех дорог, не выйдет ничего.
Покуда не омоешь кровью щек, не выйдет ничего.
Покуда, как влюбленный, о себе не позабудешь ты,
Напрасно не взывай к своей судьбе – не выйдет ничего.
Когда вплетутся розы в сумрак серый,
Вели, чтоб нас вином поили в меру.
А рассказы о гуриях, о рае
И аде не спеши принять на веру.
Видать, в моем роду случился сбой,
Коль пьянство мне назначено судьбой.
Эй, кравчий! Принеси вина: возможно,
Я перестану быть самим собой.
Для чего суетиться, бороться за власть,
Если вечность разинула алчную пасть.
Что тебе предначертано, то и получишь.
Без Творца даже яблоку вниз не упасть.
Чтобы тело прикрыть, не нужна мне парча.
Для кувшина с вином мне не жалко плеча.
Приглядись: остальное не стоит того, чтоб
Жизнь свою променять на него сгоряча.
От Сатурна – до мрака подземных дорог

Я пространство объял. Как печален итог!
Разум мой развязал все узлы мироздания.
Узел смерти – увы – развязать он не смог.
Не смыслящий в делах Аллаха, ты – ничто.
Пылинка на ветрах Аллаха, ты – ничто.
Из пустоты возник и в пустоту вернешься.
Вокруг тебя – ничто. И сам ты в нем – ничто.
Пей вино – и забудешь о тяжелой кручине,
Встретишь недруга, как подобает мужчине.
Трезвость миру вредна, ибо душу людскую
Жалит мыслями о предстоящей кончине.
Жизнь – яд, противоядие – вино.
Из двух кувшинов пить мне суждено.
В одном – отрава, а в другом – лекарство.
А третьего покуда не дано.
В этот мир мы приходим единственный раз.
Пир не кончился наш, и азарт не угас.
Предадимся веселью сейчас, а не завтра,
Ибо вечности нету в запасе у нас.
Пир покинули лучшие мира сего.
Остается нам, грешникам, длить торжество.
Говоришь, что вино – это яд? Но смертельней
Бед, что мир уготовил нам, нет ничего.
Ты на земле живешь, то грезя, то грозя.
Но бытие твое – над пропастью стезя.
Она тебе дана на время перехода.
А все, что взял взаймы, присваивать нельзя.
Живя среди ослов, что жаждут править миром,
Уж лучше стать ослом и притвориться сирым.
Не то, пошевелив ослиными мозгами,
Тебя, копь не осел, они сочтут кафиром.
Мир – ночлежка, ветрами продутая, или
Усыпальница пестрая наших идиллий;
Пир, оставшийся смертным от сотни джамшидов,
И могила, где сотни бахрамов почили.
И гора затанцует, копь выпьет вина.
Небывалая сила напитку дана.
Глупый в чаше находит лишь горький осадок,
Мудрецу же – рубины мерцают со дна.
Что – бессмертья залог? Я отвечу: вино.
Быть лекарством и ядом ему суждено.
Обжигает огнем, но людские печали,
Как живая вода, утоляет оно.
Зачем тягаться с горестной судьбой
И заниматься мелочной борьбой?
Все радости, что жизнь тебе дарует,
Ты в мир иной не унесешь с собой.
Копь не хочет Господь быть со мной заодно,
Всем желаньям моим облететь суждено.
Если праведно то, чего Он вожделеет,
Значит, то, чего я вожделею, – грешно.
Черепок от кувшина прекраснее царства Джамшида.
Слаще пищи Марьям то вино, что смывает обиды.
Звук рассветной отрыжки из чрева гуляки ночного
Благозвучнее песен Адхама и Абу Саида.
Ты к вину пристрастился? Так пей с мудрецом
Или с резвым юнцом, что приятен лицом.
Пей нечасто. Пей мало. Пей втайне от прочих,
Чтоб не слыть ни пропойцею, ни гордецом.
Лелея и кляня к тебе спешащий миг,
Ты будущего дня не различаешь лик.
Сегодняшним живи, копь сердце не безумно.
Остаток дней твоих сочтен и невелик.
В круглой чаше прохладная кровь винограда
Царства Кавуса лучше и трона Кубада.
Благозвучней напева святош лицемерных
Вздых влюбленного – в утренней свежести сада.
Вчера над лампой вился мотылек.
Сегодня он сложился и поблек.
Подумал я: «А что с ним будет завтра?..»
Но аромат вина меня отвлек.

Я поклоняться не устану
Красотке, музыке и жбану.
Пусть кровью лоз меня наполнят,
Когда и сам я жбаном стану.
Веселись, ибо все, что любил ты вчера,
Стало пеплом, развеялось ветром вчера.
Небо, горестным просьбам твоим не внимая,
День сегодняшний твой начертало вчера.
Ханжи, которые поют Аллаху лживую хвалу,
Греховней пьяниц, что из рук не выпускают пиалу
Уж лучше я кувшин с вином на голову свою поставлю,
Пусть даже мне, как петуху, приставят к темени пилу
Не поминай вчерашних бед,
Пока иных печалей нет.
Мы завтра присоединимся
К тем, что живут семь тысяч лет.
Смерть сердца наши гасит, как небо – огни.
Уходя, мы во тьме остаемся одни.
Даже малую весть мы подать не сумеем
Нашим близким из этой немой западни.
Говорят мне: «Хайям, выбирай: жбан вина или рая просвет».
Но далек ваш безоблачный рай, а вином я сегодня согрет.
Винограда рубиновый шелк слаще ваших посулов, ханжи.
Барабанную дробь хорошо слушать издали – вот мой ответ!
Сердце – малая капля. Она не вольна
Оторваться: ее возвращает волна.
Если суфий – сосуд, что невежества полон,
То его опьяняет и капля одна.
Когда б надежды ветвь у поля на краю
Дала мне плод, – судьбу узрел бы я свою.
Темница бытия мне б не казалась тесной,
Когда бы отыскал я дверь к небытию.
О сердце! Наслажденья каждый миг
Развей над лугом и возрасти цветник.
И выпади ночной росой на листья,
Чтоб ранним утром заблестать на них.
О, если б небеса, чьи тайны скрыты,
Следили, чтобы волки были сыты,
А овцы целы, – то неужто б души
Достойных оставались без защиты?
О, если небеса, чья совесть крепко спит,
Дают богатство в дом забывшего про стыд,
А праведнику в долг – засохшую лепешку, –
Мне жаль, что мой плевок до них не долетит!
Кувшин, ты в прошлой жизни, что быстро отпылала,
Был пленником покорным кудрей прекрасной Лалы.
А глиняная ручка, изогнутая плавно,
Была рукой, что шею возлюбленной ласкала.
Гони святошу: речь его скучна.
Молитвам лицемерным – грош цена.
А за твои грехи перед Всевышним
Я сам отвечу. Принеси вина!
О рок! Ты хуже рабского ярма,
Коль даришь подлым пышные дома,
А праведных лишаешь корки хлеба.
Осел ты – или выжил из ума?
Я тружусь и страдаю все ночи и дни,
Ты – кичишься плодами своей болтовни.
Стать опорой не могут ни радость, ни горе,
Ибо под небесами не вечны они.
Кувшин, что наклоняешь без конца, –
Из глаз царя и сердца мудреца.
А чаша – из багровых щек пропойцы
И нежного девичьего лица.
Когда б из сердца тек ручей, он сто домов бы снес.
И сто селений смыва б кровь моих кипящих слез.
Ресницы – желобки: по ним стекает кровь. Как только
Сомкну их, в мир придет потоп в багровых вспышках гроз.
Для чего ты судьбу понапрасну коришь,
Слезы льешь и с печали снимаешь барыш?
В правой – чашу держа, левой – пери лаская, –

Ты намного счастливей, чем нам говоришь.
 Эй, муфтий, нелеп твой судейский наряд!
 Я пьян, но трезвее тебя во сто крат.
 Я пил кровь лозы, ты – людскую. Неужто
 Ты скажешь, что мой кровожаднее взгляд?
 По-вашему, безбожник я? Ну что ж,
 Мне не впервой ловить рукою нож,
 которым ловкий недруг целит в спину.
 Но кроме злобы, что с него возьмешь?
 Червь ничтожный, тебя обжигает свет
 четырех элементов, семи планет.
 Собери в закрома хоть все золото мира,
 Но исчезнешь – и время сотрет твой след.
 Я перлы жарких клятв Тебе не раздавал
 И пыль грехов с лица украдкой не смывал.
 Но верю, что меня Ты не оставишь, ибо
 Я никогда двумя одно не называл.
 Как чудесна эта роза, ароматна и сильна.
 Но гниения угроза в ней уже заключена.
 Если б туча собирала вместо влаги бренный прах,
 кровь блистательных красавиц проливала бы она.
 Сбежав с любимой от невежд, в трущобах среди бела дня
 Сидим, свободны от надежд, страх перед будущим гоня.
 Мы за вино в залог внесли лохмотья, душу, тело, чтобы
 Освободиться от земли, эфира, воздуха, огня.
 Враг вписал меня в общество еретиков.
 Но Всевышний-то знает, что я не таков.
 Да и сам я, пришедший в обитель печали,
 Знаю, кто я. А домыслы – для дураков.
 Один твердит, что я – болтун и расточаю лесть.
 Другой приписывает мне язычество и спесь.
 А третий – пьянство и гульбу. Что толку спорить с ними,
 коль сам я знаю, кто я есть. И я таков, как есть!
 Твердь земную и небо создавший Творец,
 Ты тоской напоил миллионы сердец.
 Уст рубины и лиц просиявшие луны
 Спрятал в землю, сложил в погребальный ларец.
 Жестокий небосвод, ты перешел черту:
 Сорочку дней моих уносишь в темноту.
 Прохладный ветерок ты превращаешь в пламя,
 И в пыль – глоток воды, что у меня во рту.
 О небосвод, твой гнев, неистовый и бурный,
 Смыл тысячи царей под гул громов бравурный.
 Когда б ты грудь земли осмелился рассечь,
 Тебя бы ослепил рубинов жар пурпурный.
 Навек замкнулся круг под чашей небосвода.
 Куда ни глянь, мой друг, – все та же несвобода.
 И стоит ли, скажи, печалиться впустую,
 что поздно мы пришли и близок час ухода?
 Приходим и уходим – наги.
 Живем, не думая о благе.
 Мы бренны. Наше естество –
 Пыль, ветер, искра, капля влаги.
 Я пил бы чистое вино, но много лет подряд
 В напиток дней моих судьба подмешивает яд.
 Кебабом сердца своего кормлюсь. Лепешку доли
 Макаю в соль чужих обид, печалей и утрат.
 Я ухожу из этой круговерти
 Тоски и зла. В печаль мою поверьте.
 И пусть над гробом радуется тот,
 кто знает исцеление от смерти.
 Я знаю мир: в нем вор сидит на воре;
 Мудрец всегда проигрывает в споре
 С глупцом; бесчестный честно стыдит;
 А капля счастья тонет в море горя.
 Жизнь-виночерпий, ты меня обжулишь все равно.
 Мне опротивело твое поддельное вино.
 Уж лучше выплесну в сердцах его остаток мутный,
 коль настоящего вина отведать не дано!
 Кувшин купил я. Он в тоске бубнил мне, вечер коротая:
 «Я шахом был. В моей руке сверкала чаша золотая

Затем ли, чтоб средь бела дня или в холодном свете лунном
Презренный пьяница меня сжимал, куражась и болтая?»
Я товар гончара в мастерской изучал.
Но услышал, как, стоя на полке, вскричал
Узкогорлый кувшин средь безмолвных собратьев:
«Кто из нас продавец, покупатель, гончар?»
Я напился вчера, сокрушаясь о завтрашнем дне.
Узкогорлый кувшин я на камни швырнул в тишине.
И разбитый кувшин прозвенел черепками: «Когда-то
Был подобен тебе я, а ты уподобишься мне».
Что нам яд и нектар, если дни сочтены?
Нишапур или Балх, – если чаши полны?
Много раз после нас превратится на небе
Ломтик месяца в круглую дыню луны.
Пытаясь отдалить конец тропы земной,
Я наклонил кувшин и пил нектар хмельной.
И мне из уст в уста кувшин шепнул: «Послушай,
Я был таким, как ты. Побудь хоть миг со мной».
Я ворона узрел на черепе царя.
Он крылья распростер, надменно говоря:
«Где звон колоколов и гром литавр, властитель?
Где твой закат, скажи, и где твоя заря?»
Пей, люби и не думай о том,
Что с тобой приключится потом.
Сколько можно о вечном и тленном
Толковать? После нас – хоть потоп!
Если жизнь твоя – ветром взметенная пыль,
Если пышный цветник превращается в гниль, –
Помни: выдумка все, что тебя окружает.
А возможно, и так: все, что выдумка, – быль.
Тот, кто не ведал про еду и сон,
Был нуждами земными наделен
На время, ибо скоро их отнимут,
Чтоб вновь к истокам возвратился он.
Ты, чьи очи так алчно и хищно горят,
День за днем умножающий рыночный ряд,
Посмотри, что проделало время с другими,
Даже с теми, что лучше тебя во сто крат.
Дух мой борется с телом, чья крепость сильна.
Плоть мою ослабляет отказ от вина.
Все лекарства способствуют хвори, и только
Искрометная влага вина не вредна.
Все, что нам лозой дано, благотворно и желанно.
Обменяю на вино – изречение из Корана.
Чаша старого вина лучше царства молодого.
И прекрасней всех корон – черепок от горла жбана.
К чему на сердце умножать рубцы печали,
Над scarбом прошлого дрожать, звеня ключами?
Уж лучше книгу сладких тайн читать с подругой,
Опасной близости конца не замечая.
С весенним птичьим щебетом проснись,
Глотни вина и к людне прикоснись.
Недолго ты пробудешь в этом мире,
И он не прокричит тебе: «Вернись!»
Резвись, юнец. До срока не старей.
Наполнив чашу, к ней прильни скорей.
Ведь промежуток меж зимой и летом
Уносит жизни тысячи царей.
Кто миру весть принес, что разойдется тьма?
Нет, крупный жемчуг слез рассыпан задарма.
И чашу головы, упавшую в ладони,
Наполнишь ты едва ль – хмельным вином ума.
Когда не пью вина, мне всякая услада
Воистину тошна, как смрадный дух распада.
От всех невзгод одно лекарство есть – вино.
Когда его приму, могу принять и яда.
Вот все, что обретешь в обители о двух
Дверях: большую плоть и обреченный дух.
Блажен лишь тот, кто дверь не отворял входную,
Не напрягал в миру ни зрение, ни слух.
Где тот, кто близок сердцу моему?

Я за вином поведал бы ему,
Как человек, чья плоть из глины горя,
Мелькнул при свете и ушел во тьму.
Приятны взору моему задумчивых красавиц лица.
И к виноградному вину с утра рука моя стремится.
От каждой из земных услад я буду отрезать по дольке,
Пока моя сухая плоть в безмолвный прах не обратится.
Жить до семидесяти лет – Господь не приведи!
Куда б дорога ни вела, навеселе иди.
Пока из чаши головы не сделали кувшина,
На землю чашу не роняй, кувшин прижми к груди.
Трезвость гасит веселые искры огня.
Пьянство – тут же рассудка лишает меня.
Промежуток меж трезвостью и опьянением –
Жизнь. И ей поклоняюсь до смертного дня.
Для чего умножать бесполезное зло?
Нас посеял Творец. Время жатвы пришло.
Скоро ляжем снопами на поле осеннем.
Не горюй: небо сделало все, что могло.
Роз багряные соцветья облетают на ветрах.
Птичка певчая – о лете, ты – о будущих мирах
Все тоскуешь. Вытри слезы, с полной чашей сядь в тени.
Скоро, скоро эти розы наш с тобой засыпят прах.
Вино – напиток юности. Не ты ль
Вчера сминал с подругою ковыль?
Мир одряхлел, но кажется моложе,
Когда глядишь сквозь винную бутылку.
Хоть всю жизнь проводи с небосводом в борьбе,
Но останешься с тем, что дано голытьбе.
Рай твори из вина и зеленой лужайки,
Ибо в мире ином он не светит тебе.
Ты выплыл из невезенья, с надеждой накоротке.
Воссядь на престол веселья и кубок сожми в руке.
Всевышнему безразлично – рабы мы иль бунтари,
А радость твоя мгновенна, как бабочка на цветке.
К чему тебе, чьи закрома пусты,
А платье истрепалось в лоскуты,
Нижайшему уныло подчиняться,
Прислуживать такому же, как ты?
Я гибну, объятый бессонной тоской.
Считаю утраты, теряю покой.
Всевышний, Ты отнял земные услады,
Но беды всегда у меня под рукой.
Эй, кравчий, век таков, что мудрость не в цене.
Коль стайка дураков – вверху, а мы – на дне,
Я заплачу за то, что разума лишает.
И, может быть, судьба вдруг улыбнется мне.
Чтоб задарма тебе не наливали,
Найди вина, иди, куда позвали.
В твоих усах и в бороде моей
Создатель наш нуждается едва ли.
Разумно ли гнаться за тем, чего нет,
Терзаться: отпустит беда или нет?
Губами прильни к пиале. Неизвестно:
Успеешь ты сделать глоток или нет.
Хайям, ты выпил жбан. – Развеселись!
На миг кумиром стал – развеселись!
Небытие – итог любых стремлений.
Ты жив и даже пьян. Развеселись!
Коль сам не пьешь, то не шипи на тех,
Кому вино милей других утех.
Ты совершаешь сотни злодеяний.
В сравнение с ними, пить вино – не грех.
Катая рыдания в горле воздетом,
Петух голосит перед каждым рассветом
По ночи, что вычли из жизни недлинной.
А ты еще спишь и не знаешь об этом.
Я упреков невежды всерьез не приму.
Луноликую к сердцу покрепче прижму.
Знай: любовный напиток – мужей исцеляет,
А святошам и евнухам он ни к чему.

Хайям, ты и впрямь бы судьбу насмешил,
Когда бы в печаль окунуться решил.
Пей, лютне внимая, вино из кувшина,
Пока не разбился о камни кувшин.
Если б рока скрижаль мне подвластна была,
Я бы мир начертал без печали и зла.
Но – увы! – я владею не чашей небесной,
А лишь тем, что вмещает моя пиала.
Приходят одни, а другие в безвестность ныряют.
Дверь в тайну – закрыта. Сомненья тебя изнуряют.
Поймать ты не в силах сверкающей нити судьбы.
А жизнь твоя – чаша, которой вино измеряют.
О временном тужить – напрасный труд,
Поскольку все рожденные умрут.
Когда б судьба грешила постоянством,
Мы ни за что б не появились тут.
Тот, кто песком дорог истер свои ступни,
Платил судьбе оброк, растрачивая дни, –
Поверь, про ад и рай узнал едва ли больше,
Чем пьющий кровь лозы в гранатовой тени.
Я пески бороздил и холмы огибал при луне.
Но в скитаньях – увы! – не прибилась удача ко мне.
Лишь когда осушил я превратностей горькую чашу,
Мне случайная радость блеснула монеткой на дне.
Всевышний, коль можешь насытить, – насыть,
Чтоб мне не пришлось у бездушных просить.
А также всю жизнь до беспамятства пьяным
Держи, или мне головы не сносить.
Когда уйдешь, погибну я, меня пожрет беда.
Невзрачной тенью за Тобой я шествую всегда.
Погибли тысячи сердец, когда Ты их покинул.
Вернешься – и сто тысяч душ возьмешь Ты без труда.
Всевышний, я давно у той черты,
Где шаг – и кану в чрево черноты.
Коль жизнь сумел Ты вывести из смерти,
То выведи меня из нищеты.
Был Ты добр, и враги не сломили меня.
Посылал мне припасы, в дороге храня.
Если дашь мне возможность воскреснуть безгрешным,
То бояться не стану я Судного дня.
На знаменитых – зубы точит злоба.
На скрытных – подозренье смотрит в оба.
Чем принимать удары там и сям,
Уж лучше одиноким быть до гроба.
Не заводи друзей и не страшись врагов.
Подобен будь реке меж строгих берегов.
Пусть враг твой – сам Рустам, без боя не сдавайся.
Пусть друг твой – сам Хотам, не оставляй долгов.
В чистоте наготы мы возникли из тьмы,
Но затем осквернили тела и умы.
Слезы горечи нас ослепили. Впустую
Разбазарили время и канули мы.
Мы горло жбана рубищем заткнем,
Землей трущоб омоемся. Вздохнем
И, покопавшись в пепле погребка,
Отыщем жизнь, что потеряли в нем.
Ты розу к себе не приблизишь, пока
Коварных шипов не познает рука.
На гребень взгляни: если зубчики целы,
У милой не тронул он ни волоска.
Я печалюсь, что жизнь протекла безотраднo.
Хлеб мой горек и сух, а дыхание смраднo.
Презираем всевышним, придавлен грехом,
Я с одышкой тащусь прямо в ад, ну и ладно.
Счастливых – мало. Прочих – большинство.
Гони тоску: уныние мертво.
Когда Творец лепил тебя из глины,
Он не просил согласия твоего.
Доверившись жизни, как ветреной крале,
Мы столько отважных сердец потеряли.
Попробуй украсть свою долю, мудрец,

Покуда тебя самого не украли.
Из-за спин ты выходишь вперед: «Это – я!»
Дивной роскошью дразнишь народ: «Это – я!»
Ты удачлив. Но смерть, что сидела в засаде,
Незаметно за плечи берет: «Это – я!»
Подобно скряге, тайною владей.
Гляди, чтоб не проник в нее злодей.
Ты расставлял силки для Божьих тварей?
Что ж, ожидай того же от людей.
Поклялся я: «Не буду пить пурпурного вина.
Вино – живая кровь лозы, и мне она вредна».
Тогда рассудок произнес: «Ты говоришь серьезно?» –
«Ты веришь клятве? – я сказал. – Не верь, она пьяна!»
Я пью не оттого, что беден я,
Не из боязни сплетен и вранья,
А для веселья. Но коль ты захочешь,
Я брошу пить, прелестница моя!
Я крикнул в сердцах гордецу одному:
«Вино моему не помеха уму
Затем лишь кувшин я назначил кумиром,
Чтоб не поклоняться себе самому!»
Красавицу, свежей, чем розы цветника,
Кувшин с вином, букет держи в руках, пока
Внезапной смерти вихрь, сорвав сорочку плоти,
Не унесет ее, как лепесток цветка.
Мне говорят: «Тебе нужна
Жена, а не кувшин вина».
Глупцы! Нужна мне и подруга,
И чаша, что полным-полна.
О пусть прильнут ко мне две гурии в шелках!
Пускай хмельной рубин горит в моих руках!
Я слышал, что Творец раскаянье дарует.
Но этот дар принять я не решусь никак.
Мой кумир, прикажи, чтоб вина принесли,
ибо скоро ты будешь валяться в пыли.
Не надейся, беспечный глупец, ты – не золото,
Что зарыли бы в землю и вновь извлекли.
На смертном одре попрошу об одном:
«Омойте мой прах не водой, а вином.
С кувшином и чашею в миг воскрешенья
Меня в погребке вы найдете ночном».
Если явится смерть, чья рука холодна,
И меня, словно птицу, ощиплет она,
Пусть из праха гончар изготовит кувшины:
Может быть, воскресит меня запах вина.
Потратив много лет подряд,
Я рай узрел, я видел ад.
Но содержимое кувшина
Мне интересней во сто крат.
Мой друг, утешься. Стоит ли страдать,
Что обошла земная благодать?
Уж лучше сесть на площади с кувшином
И за игрою рока наблюдать.
Укроти свою жадность. Навеки порви
С миром зла и добра, что взошел на крови.
На ветрах бытия только шелковый локон
Да кувшин узкогорлый в ладони лови.
Слежу, чтоб мой рассудок не потух,
Молчаньем укрепляю слабый дух.
Покуда есть глаза, язык и уши, –
Клянусь Творцом: я слеп, я нем, я глух.
Давайте сплотимся, иначе едва ли
Мы в винном сосуде утопим печали.
Но утром шепнут нам пустые кувшины:
«Так шумно когда-то и мы пиروвали».
Один с мольбой глядит на небосвод,
Другой от жизни требует щедрот.
Но час придет, и оба содрогнутся:
Путь истины не этот и не тот.
Сказала роза: «Я – Юсуф над смятым шелком трав.
Мой рот – рубин, и он горит в ярчайшей из оправ».

Омар Хайям Рубаи filosoff.org

Я усмехнулся: «Коль Юсуф, то предъяви примету!»

Она ответила: «Смотри, как мой наряд кровав».

Скрижаль судьбы нам говорит: «Не надо

О свете рая и о мраке ада

Витийствовать ни в церкви, ни в мечети,

Ни за вином в тенистых дебрях сада».

О выслушай кроткое слово мое:

Ты – луч, наполняющий светом жилье.

С любовью к Тебе я уйду в эту землю.

С любовью к Тебе прорасту из нее.

Ты столько дней вина не пил и голодал.

Но, может быть, еще застанешь рамадан.

На месяц погляди: близка его кончина.

Он, словно ты, Хайям, поблек и исхудал.

Если знать не дано окончанья пути,

Мне б хоть малую тень на пути обрести.

А не тень – так хотя бы надежду: в грядущем

Тенью дерева стать, чтоб идущих спасти.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!